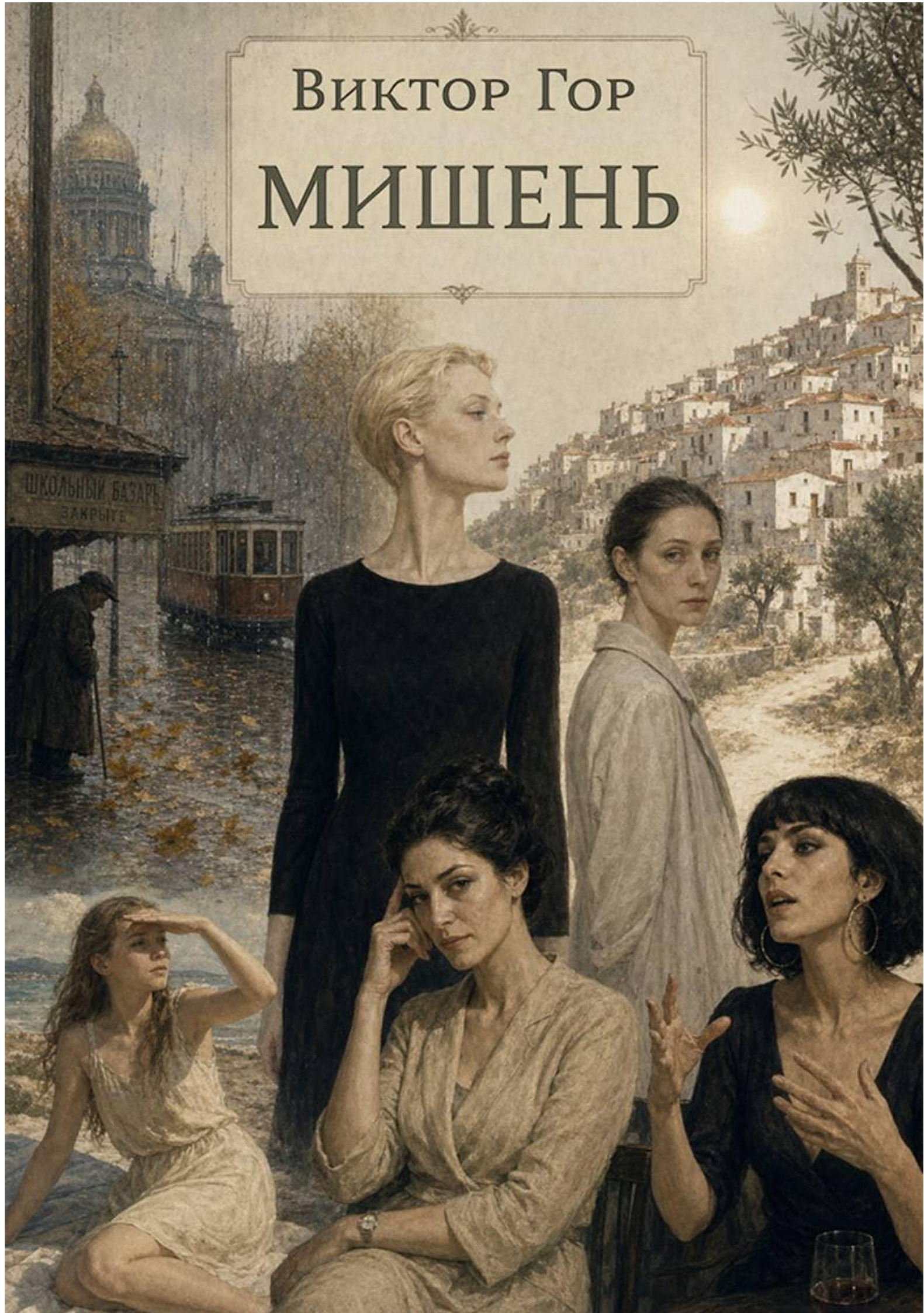


Виктор Гор МИШЕНЬ



Виктор Гор
Мишень

«Автор»

2026

Гор В.

Мишень / В. Гор — «Автор», 2026

О Риме не мечтают — о нем фантазируют, как о Марсе или Юпитере, зная, что никогда не ступишь на их поверхность. Но для Павла, русского писателя, бежавшего от преследований всесильного Громова, Рим становится последним окопом. Здесь, среди охряных домов и запаха крепкого кофе, он пишет свой главный роман — книгу-расследование, которая должна стать его щитом, но превращается в его приговор. Это история о «потерянном поколении» нового века, о людях, у которых не смогли отнять право на ярость. В этом мире, где правда стоит дороже жизни, а безопасность — лишь иллюзия между двумя выстрелами, героям предстоит узнать цену верности. Когда слова достигают цели, а империя врага начинает рушиться, судьба требует последнюю плату. Это роман о том, что можно вернуться домой, но нельзя вернуться к себе прежнему. Глубокая, как тени кипарисов в Ассизи, и острая, как глоток граппы, эта книга — гимн человеческому достоинству. «Мир ломает каждого, но правда — это единственный хлеб, который не черствеет».

© Гор В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

***	5
Часть первая. Питер	6
I.	7
II.	8
III.	10
IV.	12
V.	15
VI.	17
VII.	20
VIII.	22
IX.	25
X.	27
XI.	29
XII.	31
XIII.	34
XIV.	36
XV.	38
XVI.	40
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Мишень

Встреча. Неожиданная, как наследство троюродной тётки, и такая же нелепая. Рассохшийся от времени сундук, обклеенный открытками забытых теперь знаменитостей — цирковых велосипедистов в полосатом трико...

Всё очень просто. Ты идёшь по улице и встречаешь её, потому что когда-нибудь это всё равно должно было случиться. Ты возвращаешься домой по пустой улице, а она идёт навстречу, и постепенно ты понимаешь, что это она, и что свернуть тебе уже некуда. И ты останавливаешься, и стоишь, потому что ничего уже не просто, потому что это действительно она, и это как проклятье, от которого думал, что избавился, но которое вечно. И все твои запреты, всё, что ты там себе напридумал за это время, всё это летит вместе с тобой в тартарары, в самую преисподнюю, но и этого оказывается мало, и тебя возвращают назад, на тёмную улицу, и ставят перед ней, и оставляют стоять так до тех пор, пока она не говорит, что ей уже пора. И как последнего одолжения, ты просишь разрешить поднести её сумки. Но даже в этом тебе отказано. И всё. И прохожие, которых нет, толкают тебя в спину.

И это остаётся с тобой. И скоро у тебя появится новый запрет — вспоминать об этом. Но оно всё равно будет с тобой, как старый, обклеенный открытками сундук, в котором хранится пустота.

Часть первая. Питер

I.

Конец осени я прожил в гостинице, из окон которой был виден школьный базар, и часть парка, и идущие к нему тротуары, и по утрам было слышно, как с тротуаров сметают размокшие от дождя листья. Школьный базар теперь не работал, и только один старик продавал что-то у входа. Когда шёл дождь, старик прятался под навес, и когда однажды он не пришёл, я подумал, что с ним что-то случилось. Больше он не показывался, и школьный базар совсем опустел, и только несколько ворон пряталось под навесами от дождя. Иногда мимо проезжал старый трамвай, и от него в доме дребезжали стекла.

Осень была затяжная, и несколько раз казалось, что зима вот-вот наступит, но когда я просыпался утром, то снова чувствовал, что за ночь во мне что-то умерло, и это значило, что осень ещё не кончилась, и я шёл пить кофе, чтобы убедиться, что умерло ещё не всё.

На углу было хорошее кафе, и обычно я шёл туда, и внутри было сухо, и пахло смолотыми зёрнами, и я дул в чашку, чтобы кофе не так обжигал рот. Цены в этом году все время росли, но все равно стоять за столиком было приятно, и уходить всегда не хотелось.

Потом я шёл разыскивать какую-нибудь редакцию, и весь день был у меня занят, и когда вечером я возвращался, то снова чувствовал, что внутри у меня что-то умерло. Осень в тот год тянулась очень долго, и были дни, когда казалось, что она никогда не кончится.

II.

Снег пошел внезапно, в четверг вечером. Сначала это была просто ледяная крупа, которая стучала в окно гостиницы, а потом хлопья стали крупными и тяжелыми, и к утру они закрыли и пустой школьный базар, и тротуары, и мокрые листья. Небо, еще вчера тяжелое и свинцовое, теперь казалось высоким и прозрачным, каким оно бывает только в ранние зимние дни. Воздух сделался чистым, и в этой чистоте было что-то окончательное.

Когда я проснулся, в комнате было очень светло от снега, и я почувствовал, что то, что должно было умереть во мне за эту осень, наконец умерло совсем. Теперь внутри была только пустота, и она была чистой и холодной, как этот новый снег.

Я оделся и вышел. Город изменился. Ветви старых лип под тяжестью снега вытянулись и замерли, образуя над головой причудливые, сверкающие своды. Кое-где еще виднелись огненно-рыжие пятна не облетевшей листвы, проступавшие сквозь белизну, словно запоздалое воспоминание о несбывшемся лете. Контуров домов стали резкими, и вся природа застыла в глубоком, сосредоточенном покое, который наступает после долгой бури.

В кафе пахло жареными зёрнами и старым коньяком. Кофе был очень горячим. Я обхватил чашку обеими ладонями, и тепло медленно поползло вверх по суставам. Ощущать это было приятно. Хозяин кафе смотрел на улицу и молчал, и я тоже молчал, и нам обоим было хорошо от того, что не нужно говорить об осени.

В редакции в тот день работы для меня не нашлось, и я пошел бродить по городу, пока ноги сами не привели меня к знакомому подвалу, в котором был устроен тир.

Тир был длинный и низкий, и летом в нём всегда было прохладно, а в холодные дни его обогревали два электрических рефлектора, и когда я входил, я долго стоял возле рефлектора и грел руки, и только потом брал ружьё и заказывал себе выстрелы. Я никогда не заказывал много. Пяти-шести было в самый раз, а потом я начинал терять удовольствие. Я любил долго выбирать мишень, и целился всегда очень тщательно, пока не чувствовал, что мишень уже знает, что после выстрела ей нужно упасть. Тогда я нажимал на курок, и делал всегда это очень бережно, не торопясь, как будто боялся кого-то спугнуть, и в это время я был с мишенью, как одно целое, и чувствовать это было очень приятно. Это было даже лучше, чем потом, когда мишень падала на бок, а я делал вдох, но потом тоже было очень хорошо.

— Дай еще два, — сказал я.

— Сегодня ты хорошо стреляешь, — сказал старик.

— Да, сегодня мне везёт.

Старик взял жестянку, высыпал из неё на ладонь свинцовые пули, отделил две и положил их на край барьера рядом с ружьём. Остальные он ссыпал обратно и закрыл сверху крышкой. Потом он ухмыльнулся, и лицо его стало похожим на печеную луковицу.

— Эти я сделал сегодня, — сказал старик.

— Свинец еще есть?

— Нашел старый аккумулятор от грузовика, — старик вытер руки о фартук. — Недели на две хватит.

— Тогда всё в порядке, — сказал я.

— Да, — сказал старик. — Иначе пришлось бы закрываться.

— А помнишь, как я принёс тебе кусок кабеля в свинцовой оболочке? — спросил я, помолчав.

— Да. Ты меня тогда здорово выручил.

— И как мы плавил его прямо здесь на керосиновой печке. Я бил по кабелю молотком, а ты брал куски и складывал их в жестяную банку. И я спорил с тобой, что на керосиновой печке свинец не расплавится.

— Мне тогда хватило на целый месяц, — сказал старик.

— Я думал, его хватит на полгода.

— Всегда кажется, что хватит на больше.

— Всегда, — согласился я.

Потом я зарядил ружьё и выстрелил, почти не целясь.

— Хороший выстрел, — сказал старик.

— Просто, мне сегодня везёт.

Я снова зарядил ружьё. Потом я прижался щекой к прикладу и почувствовал, как приклад удобно упирается мне в плечо. Я сделал вдох и начал целиться, стараясь брать чуть ниже и левее, чем нужно. Я вспомнил, как старик учил меня этому. И как я учил этому её, а старик говорил, что у многих сразу не получается, и что главное — это суметь внушить мишени, что после выстрела ей нужно упасть. Теперь они со стариком об этом не вспоминали.

— Хочешь ещё пострелять? — спросил старик. — Денег я брать не буду.

— Нет, мне уже пора.

— Как у тебя, всё в порядке?

— Да, — сказал я. — Как всегда. К тому же, сегодня мне везёт.

III.

На следующий день снег уже подтаял, и улицы стали грязными, и ходить по ним было неприятно. Я снова пошёл в кафе на углу, и выпил кофе, и хозяин сказал, что если морозы установятся как следует, то в парке скоро откроют каток. Я сказал, что это будет хорошо, и вышел на улицу.

В редакции для меня была работа, и я просидел там до вечера, переводя статью о рыболовстве в северных озёрах. Работа была несложная, и я переводил медленно, чтобы она заняла весь день. Слова были твердыми и понятными, и когда я закончил, редактор сказал, что работа будет и на следующей неделе, и я сказал, что это хорошо, и он сказал, что рад был меня видеть, и я тоже сказал, что был рад.

Я встретил ее в дверях, когда уходил.

На ней было новое пальто, темно-синее, из тяжелой шерсти. Волосы она подстригла короче, и теперь шея казалась тоньше и беззащитнее. Она смотрела на меня, и в ее глазах была та странная, отчужденная серьезность, которую я видел у людей, прошедших через что-то непоправимое.

— Привет, — сказала она. Голос у нее был тихий.

— Привет.

Мы стояли в узком проходе, и люди задевали нас плечами, проходя внутрь, и мы отошли к стене.

— Ты здесь работаешь? — спросила она.

— Иногда, — сказал я. — А ты?

— Я пришла по объявлению. Им нужен кто-то на полставки для редактуры.

— Это хорошо, — сказал я.

— Да.

Я смотрел на ее руки. Она сжимала ремешок сумки, и ее пальцы были красными от сырого ветра. Она была без перчаток. Я вспомнил ее старые перчатки из мягкой кожи, и то, как она их снимала, когда мы заходили в тепло. Теперь у нее были только голые, замерзшие руки.

Вечерний свет, тусклый и желтоватый, умирал на краю свинцового горизонта, и в этом свете ее лицо казалось вырезанным из бледной слоновой кости.

— Как у тебя дела? — спросила она.

— Всё в порядке. Живу в гостинице на Садовой напротив школьного базара. И оттуда виден парк.

— Это хорошо, — сказала она, и я понял, что она не знает, что сказать, и я тоже не знал.

— А ты? — спросил я.

— Я переехала. Теперь живу ближе к центру. У меня комната в коммуналке. Там тепло.

— Хорошо, что тепло.

— Да, — сказала она и посмотрела на дверь в редакцию. — Мне, наверное, нужно идти.

— Конечно, — сказал я.

Она сделала шаг к двери, но потом остановилась.

— Ты всё ещё ходишь в тир? — спросила она. — К старику?

— Да, — сказал я. — Иногда. Он всё так же сам делает свинцовые пули.

— Он научил меня хорошо стрелять, — сказала она и слабо улыбнулась. Это была не улыбка, а просто тень воспоминания.

— Да. Он хороший учитель.

— Ты передашь ему привет?

— Передам, — сказал я, хотя знал, что не передам, и она, наверное, тоже это знала.

Она кивнула и вошла в редакцию, и дверь за ней закрылась с сухим, окончательным стуком. Я вышел на улицу. Оттепель доедала остатки вчерашней чистоты. В парке стоял туман, и голые липы казались призраками в этом сером мареве. Фонари горели тускло, разливая по лужам маслянистые пятна.

Я вернулся в гостиницу и лег на кровать прямо в пальто. В комнате было темно. На площади перед школьным базаром горел одинокий фонарь, и его свет дрожал на потолке. Я думал о том, что сегодня мне не везло. Утром я думал, что то, что должно было умереть, уже умерло, но теперь я понял, что не всё умирает за одну осень, и что зима не всегда помогает. Зима не лечит, она просто замораживает боль, но стоит начаться оттепели, и всё возвращается.

Потом я встал и спустился вниз. На улице было холодно, и я пошёл в кафе. Хозяин уже закрывался, но, когда увидел меня, кивнул и налил кофе. Я пил его медленно, и он был очень горячий, но не помогал согреться, и когда я допил, хозяин спросил, всё ли у меня в порядке.

— Да, — сказал я. — Просто сегодня мне не везёт.

IV.

Прошло несколько дней, и я больше не видел её в редакции. Редактор сказал, что её не взяли, потому что нашли кого-то с опытом, и я сказал, что это жаль, и он согласился, что это жаль. Потом он дал мне новый перевод про ловлю форели, и я взял его домой, потому что в редакции было шумно.

В гостинице я сидел у окна и переводил медленно, и смотрел, как ветер трепал пустые навесы школьного базара, и думал о том, что всегда наиболее удачным временем для меня было лето. Летом всё получалось легко, и даже когда денег не было, это не имело значения, потому что летом можно было обходиться без многого. Зимой всё было труднее, и осенью тоже, и весной иногда казалось, что лето уже близко, но это была ошибка, и весна всегда длилась дольше, чем нужно.

Я отложил перевод и закурил. В комнате было холодно, и я подумал, что нужно попросить у администратора еще одно одеяло. Потом я подумал о том лете на озере, когда мы были почти детьми и еще верили в бессмертие.

Озеро стояло в своей первозданной тишине. Высокие сосны с прямыми стволами замерли у самой кромки, и солнце, еще не жаркое, но уже властное, заливало плоские серые камни золотистым, дрожащим светом.

Мы пришли к камням первыми, и сразу залезли в воду. Когда она подошла, ее брат уже вылез и сидел на камне, а я крикнул:

— Пусть она отвернется.

Потом я вылез из воды и тоже забрался на камень. Я был совсем голый. С меня на камень стекала вода, и камень был горячий под ногами. Потом я снова прыгнул вниз, и они услышали всплеск, и как разлетаются по воде поднятые мною брызги.

Я проплыл под водой, сколько мог, потом вынырнул и поплыл дальше, быстро взмахивая руками. Я плыл в глубину, где вода была темной и тяжелой. Её брат наблюдал за мной с камня. Солнце было уже высоко, и сидеть на камне было жарко. Потом он встал и тоже прыгнул в воду. Вначале ему показалось, что вода очень холодная, и он испугался, что может утонуть от судороги, но это быстро прошло, и он поплыл за мной. Я был уже далеко, и было видно, что он не сможет меня догнать.

Она тоже встала. Вода была прозрачная, и ей было видно дно, и темные пятна водорослей, и подводные камни, чёрные от наросших на них ракушек. Она сделала над собой усилие и прыгнула, потом быстро вынырнула и поплыла к берегу.

Мы заплыли далеко. Мы плыли на большом расстоянии друг от друга, и её брат ждал, когда я поверну обратно, но я продолжал плыть дальше, и он решил возвращаться один. Когда он повернул назад, берег показался ему очень далёким, и он испугался, что может утонуть оттого, что ему не хватит сил на обратный путь.

Я продолжал плыть вперёд. Мне нравилось плавать далеко от берега, и каждый раз мне хотелось заплыть ещё дальше. Я знал, как далеко я уже заплыл, и это доставляло мне удовольствие.

Она вышла из воды и вытерлась полотенцем. Потом она переоделась и стала ждать нас. На ней было светлое платье. Она сидела на полотенце и смотрела на нас из-под ладони.

Вначале ей был виден только её брат. Он плыл к берегу.

— Дай полотенце, — сказал он, когда вылез из воды. Вид у него был сильно уставший, и ей было его жалко.

— Хочешь чего-нибудь поесть? — спросила она, когда он вытерся.

— Да, — сказал он.

Она достала из сумки холодное мясо и хлеб.

— Это на всех? — спросил он.

— Да, — сказала она. — Если тебе мало, можешь взять и моё. Мне не хочется.

Теперь ей был виден и я. Я тоже уже плыл к берегу, и ей нравилось смотреть, как я плыву. Она всегда переживала, когда я заплывал так далеко, но не решалась мне об этом сказать.

— Поплаваем вечером вместе? — предложил ей брат.

— Ладно, — сказала она.

— Только не будем заплывать слишком далеко, а то это опасно.

— Хорошо.

Она встала и отошла в сторону. Я был уже возле самого берега, и она отвернулась на случай, если я сам забуду об этом сказать.

Я тогда все время старался заплывать далеко, и мне тогда всегда везло, и казалось, что так будет всегда. Её брат утонул на следующий год в другом озере, и после этого лето уже никогда не было таким хорошим.

Я затушил сигарету и снова взялся за перевод. За окном начинало темнеть, и школьный базар постепенно растворялся в этой темноте, и переводить стало труднее. Я включил лампу на столе, и она стала отбрасывать резкую тень. Я продолжал работать, и старался не думать о том лете, но это было сложно, потому что статья была про озёра, и про то, как нужно правильно забрасывать удочку, чтобы форель не испугалась.

Когда я закончил, было уже поздно. Я спустился вниз и пошёл в кафе, но оно было закрыто. Тогда я пошёл в тир. Старик сидел в своем углу и чистил ружьё мягкой тряпкой. В оранжевом свете рефлектора он был похож на старое дерево, пережившее много бурь.

— Думал, сегодня ты уже не придёшь, — сказал он.

— Я работал.

— Работа — это хорошо. Это единственное, что остается, когда всё остальное уходит.

— Хочешь, я помогу? — спросил я.

— Нет, я уже почти закончил.

Я погрелся у рефлектора и взял ружьё. Старик дал мне три пули, и я зарядил и выстрелил, и мишень упала, и это было хорошо. Потом я выстрелил ещё раз, и снова попал, и старик сказал, что сегодня я стреляю хорошо.

— Я видел ее, — сказал я, не глядя на него.

— Знаю, — старик кивнул. — Она заходила.

— Ее не взяли в редакцию.

— Жаль. Мир полон людей, которых никуда не берут.

Я выстрелил последний раз. Мишень звякнула.

— Я вспоминал сегодня озеро. И то лето. Наиболее удачным для меня всегда было лето.

— Для всех, — сказал старик.

Я положил ружьё на барьер и отдал ему деньги, но он их не взял.

— Оставь, — сказал он.

— Нет, возьми.

— Оставь, — повторил старик, и я положил деньги обратно в карман.

Когда я вышел на улицу, было очень холодно. С реки дул ветер. Я поднял воротник и пошёл в сторону гостиницы.

Книжный магазин на Литейном закрылся. Теперь на витрине висело объявление — «Помещение сдаётся».

Школьный базар был тёмный и пустой, и снег, который выпал несколько дней назад, теперь лежал грязными кучами вдоль тротуара, и идти было скользко.

В гостинице я долго не мог уснуть. Я думал о том, что лето — это ложь, которую мы рассказываем себе в декабре. Потом я стал думать о том, как хорошо было сидеть на нагретых камнях, и как приятно было смотреть на прозрачную воду, и о том, что она всегда отворачи-

валась, когда было нужно, и никогда не говорила, что переживает. Потом я подумал, что зима ещё только началась, и что впереди ещё много холодных дней, и уснуть после этого было легче.

V.

Морозы так и не установились, и каток в парке не открыли. Вместо этого пошёл мокрый снег с дождём, и ходить по улицам стало ещё хуже, чем раньше. Небо висело над городом серым пологом, и казалось, что оно опустилось до самых крыш, придавив их своей невыносимой тяжестью. Сумерки наступали рано, разливая по улицам тусклый, лиловатый свет, в котором всё — и люди, и машины, и голые деревья — казалось призрачным и зыбким. Мокрый снег летел лениво, вперемежку с дождем; он не ложился на землю, а тотчас таял, превращаясь в блестящую черную жижу, в которой дрожали отражения фонарей. Лед на реке был тонкий и ненадежный, как обещания в военное время.

На углу открыли мастерскую — «Ремонт обуви. Перешив одежды». Это было мудро. В такое время люди перестают покупать картины, но они всегда будут чинить старую обувь, пока им еще есть куда идти.

Я закончил перевод про форель. Это был честный перевод о холодной воде и сильной рыбе. Редактор заплатил мне, и деньги были тяжелыми и настоящими. Я пошел в кафе.

Она сидела у окна и пила чай, и когда я вошёл, то сразу ее увидел. Перед ней стоял стакан чая, в котором плавал тонкий кружок лимона, похожий на маленькое, замерзшее солнце. Она подняла голову и посмотрела на меня, и я кивнул ей и пошёл к стойке. Я заказал кофе. Он был горьким и горячим. Я стоял у стойки и не знал, нужно ли мне к ней подойти. Потом она сама позвала меня.

— Садись, — сказала она. Голос у нее был ровный, без всяких интонаций.

— Спасибо, — сказал я и сел напротив.

— Ты был в редакции?

— Да. Сдавал перевод.

— Это хорошо.

— Да, — сказал я. — А ты нашла работу?

— Пока нет. Но я ищу.

Мы помолчали. Она смотрела в окно, и я тоже туда посмотрел. На улице сыпал мокрый снег, и люди шли, пригнув головы, и было видно, что всем холодно.

— Помнишь Глеба? — спросила она, глядя в сторону.

— Да, — сказал я. — Конечно, помню.

— Я вспоминала его сегодня.

— Мне он всегда нравился.

— Да, — повторила она. — Тебе он нравился.

Мы все знали, что с ним случилось, но в нашем кругу не принято было об этом говорить. О плохих вещах лучше молчать, тогда кажется, что их не было.

— Недавно я встретила одного человека, — сказала она и допила остывший чай. — Он был очень похож на Глеба.

Она замолчала. Я ждал продолжения, но его не было. Самое главное всегда остается в зазорах между словами. Мы продолжали сидеть молча, и хозяин подошел спросить, не нужно ли еще чего-нибудь. Она сказала, что нет, и я тоже сказал, что нет, и хозяин ушёл.

Потом она встала и сказала, что ей нужно идти. Я тоже встал, и мы вышли на улицу вместе. Мокрый снег тут же вцепился в одежду. Она подняла воротник своего темно-синего пальто.

— Ты пойдешь к старику?

— Наверное.

— Передай ему привет.

— Хорошо, — сказал я, и на этот раз я знал, что передам.

Она ушла в сторону центра, и ее силуэт быстро растворился в сиреневом тумане оттепели. Я пошел к гостинице. Я думал о Глебе. Он тоже любил заплывать далеко, туда, где вода становится черной и равнодушной. Тогда мы оба верили, что берег всегда будет нас ждать. Потом с Глебом случилось то, что случается, когда берег решает исчезнуть.

В комнате было темно и пахло одиночеством. Я смотрел на пустые прилавки школьного базара. Снег падал на них, бесшумный и бесполезный. Я понял, что наиболее удачным временем для меня всегда было лето, но лето — это дезертир. Оно всегда уходит первым. Теперь оставались только зима и осень, и бесконечное ожидание чего-то, что вряд ли наступит.

Я пошел в тир. Там было тепло от рефлекторов. Старик сортировал пули. Это была кропотливая работа. Он брал каждую свинцовую горошину, подносил к свету и проверял, чтобы головка была идеально круглой. Свинец должен быть безупречным, иначе выстрел превращается в случайность. А в жизни и так слишком много случайностей.

— Она просила передать тебе привет, — сказал я, грея руки у оранжевой спирали.

Старик замер, держа пулю двумя пальцами.

— Ты видел ее?

— Да. В кафе.

— Случайно?

— Да. Случайно.

— Как она? — он посмотрел на меня своим сухим, всевидящим взглядом.

— Ищет работу. В остальном — в порядке.

— Работа — это важно, — сказал старик и вернулся к своим пулям. — Когда человек занят делом, у него меньше времени на то, чтобы портить себе жизнь.

Я взял ружье. Оно было привычно тяжелым. Я выстрелил несколько раз. Звук выстрела в закрытом подвале был коротким и честным, и старик не взял с меня денег.

Когда я вышел, на улице всё еще шел мокрый снег. Ветер дул с реки, холодный и резкий, но я чувствовал себя немного лучше. Может быть, потому что я передал привет. А может быть, потому что в этом мире еще оставались люди, которые так тщательно выбирают пули.

VI.

На следующий день я проснулся поздно. В комнате было светло и тихо. Мокрый снег перестал идти, и небо очистилось, став бледным и холодным. Воздух был неподвижен и прозрачен; в его разреженной чистоте далеко и отчетливо раздавались городские звуки. Небо казалось натянутым над крышами, точно тонкий серовато-голубой шелк, сквозь который проступала холодная, безучастная бесконечность. Голые ветви деревьев за окном застыли в своем сиротливом оцепенении, и на их черных сучьях еще дрожали капли талой воды, сверкая, как мелкие алмазы, в лучах негреющего солнца.

Я спустился вниз и выпил кофе. Хозяин сказал, что скоро обещают морозы, и что каток тогда точно залиют, и я сказал, что это хорошо, и он согласился, что это хорошо. Я выпил кофе и пошёл бродить по городу.

Улицы были мокрые, и под ногами хлюпала грязь, и я шёл без цели, и ноги сами привели меня к дому, где мы когда-то снимали квартиру. Дом был старый, четырёхэтажный, с облупившейся штукатуркой, и я стоял напротив и смотрел на окна третьего этажа. Окна были закрыты, и за ними жили теперь другие люди, и я подумал, что не нужно было сюда приходить. Это всегда ошибка — возвращаться туда, где ты был счастлив, потому что счастье не оставляет отпечатков на стенах. Оно выветривается, как запах табака.

Но я всё равно стоял и смотрел, и вспоминал то время, когда она носила другое пальто, серое, в мелкую клетку, и когда волосы у неё были длинные, и она собирала их в хвост, и мне нравилось смотреть, как она это делает. Это было до того, как с Глебом случилось что-то плохое, и тогда всё было проще.

После озера мы долго не виделись. Но я знал, что у нее был Глеб, а потом они расстались. Но все это не имело для меня значения. Потому что Глеб мне нравился, и потому, что он заплывал почти так же далеко, как я. А потом мы с ней случайно встретились. Она работала в библиотеке, а я приходил туда за словарями для переводов, и она спросила, чем я теперь занимаюсь, и я сказал, что делаю переводы, и она сказала, что это интересно. Потом мы стали встречаться, и в мае сняли вместе квартиру в этом доме.

Мы прожили там до осени. Осень в тот год была тёплая, и всё ещё было хорошо. Я много работал, и она тоже работала, и по вечерам мы гуляли по городу, и заходили в кафе, и я учил её разбираться в сортах кофе, хотя сам толком в них не разбирался.

Однажды я повёл её в тир. Старик долго ее разглядывал, и когда я сказал, что хочу научить её стрелять, он сказал, что поможет.

— Ружье делает человека спокойнее. Оно дает определенность, — сказал старик.

Он показал ей, как нужно держать ружьё, и как прижиматься щекой к прикладу, и как упирать приклад в плечо. Она делала всё правильно, и старик сказал, что у неё хорошая хватка.

— Теперь целься, — сказал он.

— Куда?

— Вон в ту мишень. Видишь?

— Да.

— Целься в центр. Только бери чуть ниже и левее.

— Почему?

— Потому что ружьё так пристреляно, — сказал старик. — У каждого ружья свой характер.

Она прицелилась, и я видел, что она держит ружьё правильно, и что ей нравится, и старик тоже это видел.

— Не торопись, — сказал он. — Сначала убеди мишень, что после выстрела она должна упасть.

— Как это?

— Просто смотри на неё. Смотри, пока не почувствуешь, что она знает.

Она долго целилась, и потом выстрелила, и мишень упала, и она обернулась к нам, и лицо у неё было счастливое.

— Получилось!

— Ты молодец, — сказал старик.

— Дай мне ещё попробовать.

Старик дал ей ещё несколько пуль, и она стреляла, и промахивалась, и попадала, и когда попадала, была очень довольна. Потом она устала, и мы пили чай из термоса, и старик сказал, что у неё талант.

— Правда? — спросила она.

— Правда, — сказал старик. — У многих сразу не получается. А у тебя получилось с первого раза.

— Это потому, что ты хорошо объясняешь.

— Может быть, — сказал старик. — А может, у тебя просто талант.

После этого мы ходили в тир часто. Иногда она приходила одна, когда я работал, и старик давал ей стрелять, и иногда не брал денег, и она приносила ему домашние пироги, которые пекла по воскресеньям. Старик говорил, что таких пирогов он давно не ел, и она была рада, и пекла ещё.

А потом это случилось с Глебом, и все знали, что с ним случилось что-то плохое, но не произносили это вслух.

После этого она изменилась. Она всё так же стреляла в тире, но теперь она была по мишеням с какой-то яростной сосредоточенностью, будто хотела уничтожить само воспоминание о том лете, и о своем брате, и о Глебе, и обо мне. В своей голове она связывала нас вместе, и из всех троих только я был жив, и она не могла понять, почему именно я, и возможно, ей казалось, что это не справедливо. Она стала молчать по вечерам, и я слышал, как она плачет, когда думает, что я сплю. Я не знал, что сказать. В такие минуты слова бесполезны, как пустые гильзы.

Потом она ушла. Я смотрел ей вслед из окна и знал, что война внутри нее оказалась сильнее нашей маленькой мирной жизни.

Я постоял ещё немного возле дома, потом развернулся и пошёл обратно. Было холодно, и я шёл быстро, и думал о том, что не нужно было сюда приходить, и что воспоминания не помогают, а только делают хуже. У метро стояли люди с сумками. Все молчали, и в их молчании было что-то окончательное.

Я вернулся в гостиницу. За окном было серое небо, на школьном базаре уже горел фонарь, и я подумал, что хорошо бы сейчас было лето, но лето было далеко, и наступит оно ещё нескоро.

Вечером я зашел к старику. Он плавил свинец. Синее пламя керосинки дрожало, отражаясь в его очках.

— Помнишь ее пироги? — спросил он, не оборачиваясь.

— Помню. Они были хорошими.

— Да, — старик вздохнул. — Она была хорошей девушкой. И сейчас хорошая. Просто иногда жизнь бьет слишком метко. Прямо в центр.

— Да, — сказал я. — Наверное.

— Хочешь пострелять?

— Нет. Сегодня нет.

Я вышел в сырые сумерки. Обещанные морозы так и не пришли, только влажный холод, который пробирал до костей. Я зашел в кафе и заказал кофе.

— Всё в порядке? — спросил хозяин, протирая стойку.

— Да, — сказал я. — Всё в порядке.

— Это хорошо, — сказал он.

— Да, — ответил я. — Это хорошо.

Но было не хорошо, и мы оба это знали, и когда я вышел на улицу, стало ещё холоднее, чем раньше, и я подумал, что лето никогда не возвращается к тем, кто его потерял.

VII.

После того как она ушла, я переехал в гостиницу, из которой был виден школьный базар, и часть парка, и идущие к нему тротуары. Я делал переводы, и денег хватало на еду и на оплату комнаты, и иногда оставалось на тир, и этого было достаточно.

По вечерам я сидел за столом и пытался писать. Сначала это были просто записи, потом они стали длиннее, и однажды я понял, что пишу роман. Я не знал, о чём он будет, и писал просто то, что приходило в голову, и это помогало не думать о ней, и о Глебе, и о том лете на озере.

Я писал по ночам. Было тихо, и только иногда проезжал трамвай, и стёкла в окнах дрожали. Я писал долго, и когда заканчивал, было уже светло, и я ложился спать, и спал до обеда, а потом снова делал переводы.

Роман был про войну. Он был про человека, который вернулся с войны и не мог вернуться по-настоящему, и всё время чувствовал, что внутри у него что-то умерло. Я писал о нём так, как будто это был не я, но старик в тире, когда я показал ему несколько страниц, сказал, что узнаёт меня, и я понял, что он прав.

Роман я закончил к весне. Рукопись получилась тяжелой и плотной, и я перепечатал её на машинке, которую одолжил в редакции. Машинка стучала, как пулемет, и когда всё было готово, я почувствовал, что теперь должно начаться что-то новое. Но ничего нового не началось, и я просто продолжал делать переводы. Школьный базар был таким же серым, а кофе в кафе — таким же горьким. Рукопись лежала на столе и напоминала мне о тех ночах, когда я её писал.

Потом я решил, что нужно попытаться её напечатать. Я знал, что это бесполезно, но всё равно хотел попробовать.

Я начал обходить издательства. Это было похоже на патрулирование в чужой стране: ты идешь по коридорам, на тебя смотрят равнодушные глаза, и ты заранее знаешь, что случится. Мы сидели в приемных, сжимая в руках папки с нашими жизнями, и старались не смотреть друг другу в лицо. Мы были как солдаты разбитой армии, у которых не осталось ничего, кроме их личных поражений.

— О чем это? — спрашивали редакторы.

— О войне и о том, что после.

— Мы посмотрим. Зайдите через месяц.

Через месяц они говорили, что роман интересный, но это не их тема. Или что он слишком мрачный. Или просто отдавали рукопись, не глядя в глаза. Рукопись ветшала. Углы страниц загнулись, на первом листе появилось жирное пятно от кофе, и я заново перепечатал его на машинке в редакции, где делал переводы.

Ходить по издательствам становилось всё труднее, и каждый раз, когда мне отказывали, я говорил себе, что больше не пойду, но потом всё равно шёл.

— Зачем ты это делаешь? — спросил старик, когда я зашел к нему после очередного отказа.

— Не знаю. Наверное, потому что это всё, что у меня осталось.

— Может, роман и правда плохой?

— Может быть, — сказал я. — Но я его написал. И это честный роман.

— Это уже что-то, — сказал старик.

— Да, — согласился я. — Это уже что-то.

В этих походах прошло лето. Дни стояли жаркие, истомленные зноем; липы в парке отцветали, роняя на дорожки сладкий, дурмящий аромат.

Мне везде отказывали, но летом было легче, потому что было тепло, и ходить было приятно, и когда мне отказывали, я шёл гулять по набережной, и смотрел на реку. Река текла медленно, зеркально отражая неподвижные облака, и вода в ней была теплой и мутной. Я часто ходил на набережную и смотрел на течение. Мне хотелось заплыть далеко, как в то лето на озере, но я только смотрел. Река была слишком старой и знала слишком много ответов. Потом наступила осень, и ходить стало холодно, и я понял, что устал.

В одном из последних издательств редактор был молодой, моложе меня, и когда он посмотрел на рукопись, то сказал, что я зря трачу время.

— Такие романы сейчас никто не печатает, — сказал он.

— Почему?

— Потому что они никому не нужны. Люди хотят читать другое.

— Что именно?

— Что-то весёлое. Или фантастическое. А ваш роман ни то, ни другое.

— Понятно, — сказал я.

— Вы обиделись?

— Нет, — сказал я. — Просто понял.

Я вышел на улицу. Шел дождь — первый осенний дождь, холодный и мелкий. На улице у входа в издательство стояла женщина и продавала домашние пирожки. Я спросил, сколько стоит и купил один. Он был теплым, и это было единственное тепло на всей улице.

Я зашел в кафе. Хозяин налил мне кофе.

— Как дела с книгой?

— Плохо, — сказал я. — Она никому не нужна.

— Не сдавайся, — сказал он, и налил мне вторую чашку за счет заведения.

Я вернулся в гостиницу и положил рукопись на край стола. Она лежала там, как раненый зверь, который больше не может идти. Я лег на кровать и закурил. Дождь стучал в стекло. Я думал о том, что молодой редактор был прав: миру не нужны зеркала, миру нужны маски.

Вечером я не пошёл в тир. Я лежал на кровати и курил, и смотрел, как дым поднимается к потолку, и было тихо, и только дождь стучал в окно, и это было не хорошо, но терпимо.

Рукопись так и осталась лежать на столе. Иногда я перечитывал несколько страниц, и мне казалось, что написано неплохо, а иногда казалось, что написано плохо, и что молодой редактор был прав. Но я больше не ходил по издательствам, и когда меня спрашивали про роман, я говорил, что всё в порядке, и что я больше этим не занимаюсь, и люди кивали, и мы говорили о другом.

VIII.

Несколько дней я не выходил из комнаты. Дождь закончился, и стало холодно, и по утрам я просыпался и смотрел на рукопись, которая лежала на столе. Она была похожа на мертвое тело, которое забыли похоронить, и я думал, что нужно было бы её выбросить, но не выбрасывал. Переводов не было, и денег почти не осталось, и я знал, что скоро нужно будет идти в редакцию, но пока не ходил.

Однажды вечером я взял рукопись и стал перечитывать. Я читал медленно, и многое казалось написанным плохо, но некоторые места были неплохие, и я читал дальше. Роман был о человеке, который вернулся с войны, но война осталась в нем, как осколок, который нельзя вырезать. Его звали Андрей, и он был не похож на меня, но старик был прав — в нём было что-то и от меня.

Андрей приехал в южный город, где никого не знал, и устроился работать на полигон. Работа была простая — следить за стрельбами и составлять отчёты. Ему нравилось, что не нужно было много говорить, и что вокруг были горы, и что по вечерам он мог сидеть один и смотреть, как солнце садится за перевал.

Я нашёл то место, где описывались стрельбы, и стал читать внимательнее.

Горы шли двумя складками с запада на восток, а внутри лежала узкая ложбина, по которой шла дорога на перевал. В ясную погоду перевал был хорошо виден, и за ним тянулась ещё одна складка гор. Там, где солнце выжгло траву, склоны были жёлто-коричневого цвета, а когда шли дожди, склоны чернели, и по ним в ложбину стекала вода. Дожди шли весь июль. А в августе небо выгорело от жары и повисло над склонами, как выцветшая от времени занавеска.

Самоходки стояли в полутора километрах от склона. Это были приземистые машины, пахнущие мазутом и раскаленным металлом, и промашные трассы от них уходили в гору, а на месте разрывов поднимались серые облачка пыли. Звук от разрывов долетал позже, и от этого казалось, что облачка возникают сами собой. Иногда трассы шли слишком низко, и тогда они уходили в землю, и хриплый звук, похожий на треск ломающихся веток, долетал тогда быстрее, но всё равно не верилось, что серые облачка, поднимающиеся по одной линии, получаются от разрывов двадцатитрёхмиллиметровых снарядов двух зенитных самоходок, стоящих в полутора километрах от склона. Самоходки стреляли короткими очередями, и вначале было слышно глухое буханье автоматических пушек, отшвыривающих на землю пустые тёмно-зелёные гильзы, а потом над склоном поднимались серые облачка, а когда снаряды попадали в мишень, от неё отлетали куски фанеры.

В перерывах между стрельбами грузовик брал солдат и вёз их к тому месту, где стояли мишени, и пока он их вёз, солдаты сидели молча и смотрели себе под ноги. Потом они выскакивали из кузова и начинали возиться с мотками проволоки и толем, стараясь быстрее разделиться с ремонтом и убраться из-под наведённых стволов, и когда с самоходок смотрели на них через бинокль, в дрожащем от зноя воздухе были видны их спины, почерневшие от пота. Потом солдаты лезли в кузов, и их везли обратно, и когда грузовик начинало трясти, они хватались за борта, чтобы удержаться на скамейках. Грузовик останавливался за самоходками, и солдаты спрыгивали на землю, а потом самоходки снова начинали стрелять, и всем снова казалось, что долетающий с опозданием треск не имеет никакого отношения к глухому буханью автоматических пушек.

Андрей смотрел на это и думал о том, что учебные стрельбы ничем не отличаются от настоящих, кроме того, что мишени не кричат, когда в них попадает металл.

В романе была ещё женщина, которая работала в столовой на полигоне. Её звали Вера, и она была немного похожа на ту самую девушку в сером пальто, хотя я старался сделать её другой. Вера и Андрей иногда разговаривали, и однажды они поехали вместе в город, и Андрей

подумал, что, может быть, с ней может что-то сложиться. Но потом что-то пошло не так, и они расстались, и Андрей остался один.

Роман заканчивался тем, что Андрей уходил с полигона и уезжал дальше на юг, к морю. Последняя сцена была на вокзале. Андрей сидел в пустом вагоне и смотрел в окно, и поезд начинал двигаться, и горы оставались позади, и Андрей знал, что никогда туда не вернётся, и ему было всё равно.

Я дочитал до конца и положил рукопись обратно на стол. В комнате было холодно, и за окном было темно, и навесы школьного базара чернели в темноте. Я подумал о том, что роман действительно никому не нужен, и что молодой редактор был прав. Люди хотели читать что-то другое — что-то весёлое или фантастическое. А мой роман был ни весёлый, ни фантастический. Он был просто о том, как человек живёт и не может понять, зачем живёт, и в конце остаётся один.

Но я не жалел, что написал его. Когда я писал по ночам, мне было легче не думать о ней, и о Глебе, и о том, что внутри меня что-то умерло. Я просто писал, и это помогало, и рукопись на столе была доказательством того, что я что-то сделал, и это что-то значило.

На следующий день я пошёл в редакцию. Редактор сказал, что есть новая работа — большая статья про рыболовство в Норвегии. Работы было на неделю, и он заплатит хорошо, и я сказал, что возьмусь. Потом я пошёл в кафе, и хозяин налил мне кофе, и спросил, как дела с романом.

— Больше я этим не занимаюсь, — сказал я.

— Совсем?

— Совсем.

— Жаль, — сказал хозяин.

— Да, — сказал я. — Но ничего не поделаешь.

Я выпил кофе и вышел на улицу. Было холодно, но дождя не было, и я пошёл гулять по городу. Возле гостиницы «Европейская» стояли девушки. Ждали иностранцев. Девушки не прятались. Всё было открыто и понятно. Я шёл без цели, и ноги сами привели меня к тиру. Старик сидел на своём месте и записывал что-то в потрепанную тетрадь.

— Давно не заходил, — сказал старик.

— Да, — сказал я. — Были дела.

— Как роман?

— Никак. Больше не ношу его по издательствам.

— Жаль, — сказал старик.

— Ничего, — сказал я. — Я и так знал, что не напечатают.

— Тогда зачем ходил?

— Не знаю, — сказал я. — Наверное, нужно было убедиться.

Старик кивнул и отложил тетрадь. Потом он достал жестянку со свинцовыми пулями и высыпал несколько на барьер.

— На, постреляй. Денег не надо.

— Спасибо, — сказал я.

Я взял ружьё и зарядил его. Потом прицелился и выстрелил, и мишень упала, и это было хорошо. Я выстрелил ещё несколько раз, и каждый раз попадал, и старик сказал, что я стреляю хорошо.

— Сегодня мне везёт, — сказал я.

— Да, — сказал старик. — Сегодня тебе везёт.

Когда я вышел из тира, на улице уже темнело. Я шёл к гостинице и думал об Андрее, и о горах, и о Вере. Они все были выдуманы, но в этот вечер они казались мне более реальными, чем люди, толкавшие меня плечами на тротуаре.

В гостинице я поднялся к себе и сел за стол. Рукопись всё ещё лежала там, где я её оставил. Я посмотрел на неё, потом открыл ящик стола и положил её туда. Потом закрыл ящик и больше не открывал.

IX.

Из квартиры, где мы жили вместе, я съехал через месяц после того, как она ушла. Сначала я думал, что смогу там остаться. Квартира была хорошая, и арендная плата была честная, и уходить не хотелось. Но каждый раз, когда я возвращался вечером, мне казалось, что она всё ещё здесь, и что сейчас она выйдет из комнаты, и скажет что-нибудь, и всё будет как раньше. Но она не выходила, и ничего не было как раньше, и становилось всё тяжелее. Комнаты были полны теней, и тени были тяжелыми.

Хуже всего было по утрам. Я просыпался и несколько секунд не помнил, что она ушла, а потом вспоминал, и тогда становилось совсем плохо. Я вставал и ходил по комнатам, и всё напоминало о ней — полка, где стояли её книги, крючок в прихожей, где висело её пальто, отметина на стене в том месте, где она задела ее однажды углом рамки с фотографией. Весь дом был заминирован этими воспоминаниями, и я понимал, что в конце концов подорвусь на одном из них. Я знал, что нужно уехать, но откладывал, и с каждым днем становилось всё хуже.

Однажды вечером я пришёл домой, и в квартире пахло её духами. Это был тонкий, едва уловимый аромат жасмина и табака. Я знал, что это невозможно, что она не приходила, и что запах мне просто показался, но всё равно обошёл все комнаты, проверяя. Её нигде не было, и я сел на кровать и понял, что больше не могу здесь оставаться, что этот последний раунд я окончательно проиграл.

На следующий день я нашёл комнату в гостинице на Садовой. Гостиница была дешёвая, со скрипучими полами и запахом пыльной мебели, и из окна был виден школьный базар и часть парка, и мне понравилось, что можно смотреть на улицу и видеть, как идут люди. Там была жизнь, к которой я не имел отношения, и это успокаивало. Я собрал свои вещи и переехал в тот же день. Книги я сложил в один чемодан, а одежду во второй, и этого было достаточно.

Хозяин квартиры не спрашивал, почему я съезжаю раньше срока. Он просто пересчитал деньги и сказал, что всё в порядке, и я был ему благодарен за то, что он ни о чем не спрашивал. Когда я уходил, я обернулся и посмотрел на дверь, и подумал, что больше никогда сюда не вернусь, и это было правдой.

В гостинице было проще. Это была ничейная территория. Комната была маленькая, и в ней ничего не напоминало о ней, и по утрам я просыпался и сразу вспоминал, где я и почему я здесь. Это было лучше, чем каждый раз вспоминать все заново. Я устроил стол у окна, и начал писать роман, и это помогало.

Прошел почти месяц прежде, чем я увидел её снова. Был вечер, холодный и прозрачный. Небо над городом выплело, превратившись в узкую полоску бледного янтаря на западе, а над крышами уже сгущались сумерки, синие и густые, как вино. Воздух замер; липы в парке стояли неподвижно, их черные, голые сучья четко рисовались на фоне гаснущего горизонта, точно тонкая резьба по кости.

Я шёл из редакции и нёс новый перевод — статью про ловлю сельди. Было холодно, и я шёл быстро, и думал о том, что нужно зайти поесть, и что потом хорошо бы пойти в тир.

Я увидел её на углу. Она шла по противоположной стороне улицы и держала под руку мужчину. Сначала я не сразу узнал её, потому что она носила теперь черный кожаный плащ, и волосы были покрашены в другой цвет. Но потом она повернула голову, и я увидел её лицо, и понял, что это она.

Они шли и разговаривали, и она смеялась. Смех у неё был громкий, и я слышал его даже через шум улицы. Она смеялась и крепче прижималась к руке мужчины. Я остановился и смотрел на них. Мужчина был невысокий, плотный, с круглым лицом. Он совсем не был похож на Глеба. Он что-то говорил, и она снова смеялась, и запрокидывала голову, и волосы разлетались, и я вспомнил, как раньше она собирала их в хвост.

Я стоял и смотрел, и люди проходили мимо меня, и кто-то толкнул меня локтем, но я не двигался. Она всё ещё смеялась, но мне показалось, что смеётся она слишком громко, и что смех этот неправильный. Мне показалось, что на самом деле ей совсем не смешно, и что она смеётся, потому что так нужно, потому что мужчина рядом с ней ждёт, что она будет смеяться.

Потом они свернули за угол, и я их больше не видел. Я постоял ещё немного, потом пошёл дальше. Переводы в руках вдруг стали тяжёлыми, и идти не хотелось, но я шёл, потому что нужно было куда-то идти.

В гостинице я поднялся к себе и положил переводы на стол. Потом лёг на кровать и закурил. За окном темнело, и школьный базар уже почти не было видно, и я лежал и думал о том, как она смеялась, и о том, что мне показалось, что ей не смешно.

Наверное, я ошибался. Наверное, ей было смешно по-настоящему, и она была счастлива с тем мужчиной, который совсем не был похож на Глеба. Наверное, она больше не вспоминала ни Глеба, ни меня, ни то лето на озере, и у неё теперь была другая жизнь, и в этой жизни всё было хорошо. Наверное, так оно и было. Люди умеют забывать. Это их лучший защитный механизм.

Но мне всё равно казалось, что когда она смеялась, ей было совсем не смешно, и что длинный плащ шел ей хуже, чем серое пальто, и что цвет волос раньше был лучше. И от этого становилось тяжело. Я лежал в темноте и слушал, как дребезжат стекла от проезжающих трамваев. Мне хотелось, чтобы сейчас было лето. Мне хотелось плыть по озеру, долго и размеренно, пока берег не превратится в тонкую нить, а потом и вовсе исчезнет. Но лета не было. Была только Садовая улица и запах дешевого табака.

На следующий день я проснулся поздно. За окном было серое небо, и было холодно, и я почувствовал, что внутри у меня снова что-то умерло, и это значило, что зима ещё не кончилась. Я встал, умылся, и вышел на улицу.

Я пошёл в редакцию сдавать перевод. Редактор посмотрел работу и сказал, что всё хорошо, и заплатил мне, и спросил, не возьму ли я ещё один перевод. Я сказал, что возьму, и он дал мне новую статью про разведение форели в искусственных водоёмах.

— Опять про рыбу, — сказал я.

— Да, — сказал редактор. — У нас сейчас много материалов про рыбу. Ты же не против?

— Нет, — сказал я. — Рыба не смеется. Мне это подходит.

Я взял статью и вышел на улицу. Было холодно, и небо было серое, и люди шли быстро, пряча лица в воротники. Я посмотрел на угол, где вчера видел её, и подумал, что, может быть, она снова пройдёт здесь, и снова будет смеяться, держа под руку того мужчину. Но её не было, и я пошёл в сторону гостиницы.

По дороге я зашёл в тир. Старик сидел у рефлектора и грел руки, и в свете рефлектора казалось, что они сделаны из того же старого дерева, что и приклады ружей.

— Будешь стрелять? — спросил он.

— Нет, — сказал я. — Просто зашёл погреться.

— Погрейся, — сказал старик.

Я постоял у рефлектора, и старик молчал, и мне было хорошо от того, что он ничего не спрашивал. Потом я попрощался и вышел на улицу, и пошёл в гостиницу, и всю дорогу думал о том, как она смеялась, и о том, что мне показалось, что ей совсем не смешно. Потом я подумал, что смех — это просто шум, который скоро утихнет, когда мороз станет по-настоящему крепким.

Х.

Зима затянулась, и каждое утро было похоже на предыдущее, как одна пустая гильза похожа на другую.

Снег то выпадал, то таял, превращаясь в грязную кашу, которая замерзала по ночам острыми ледяными пиками. Небо висело над городом низко, тяжелое и плотное, точно старая шинель. Ветер дул с Невы, завывал в подворотнях, качал голые, почерневшие ветви берез в парке, и те бились друг о друга с сухим, костяным стуком. По утрам на школьном базаре иней покрывал пустые прилавки, и в холодном розовом свете зари они казались остовами брошенных судов на мели. Воздух был колючим и сухим, он обжигал легкие, и в этой бесконечной зиме было что-то окончательное, как будто весну кто-то отменил своим приказом.

Иногда я ходил в редакцию за переводом. Потом возвращался в свою комнату и пытался переводить медленно, чтобы работа заняла больше времени. Потом снова шел в редакцию и отдавал перевод, а редактор хвалил меня и платил деньги, и все это повторялось, и это было не хорошо, но терпимо.

Рукопись романа всё ещё лежала в ящике стола. Иногда я открывал ящик и смотрел на неё, но не перечитывал. Я больше не думал об издательствах, и когда редактор, у которого я брал переводы, однажды спросил, не пишу ли я чего-нибудь своего, я сказал, что нет, и он больше не спрашивал.

Я увидел её в конце февраля. Был холодный день, и я шёл из редакции с новым переводом. Статья была про разведение осетров, и работы было много, и я был доволен, потому что денег оставалось мало.

Автомобиль стоял у подъезда одного из новых домов. Автомобиль был большой, чёрный, с блестящим капотом, и было видно, что он дорогой. Возле автомобиля стоял шофёр в форменной фуражке и курил, и когда я проходил мимо, дверь подъезда открылась, и она вышла.

На ней была короткая шуба из тёмного меха и длинные сапоги выше колена. Шуба была явно дорогая, и сапоги тоже, и волосы у неё были уложены по-другому, не так, как раньше. Она шла к автомобилю, и шофёр открыл ей дверь, и она села внутрь, и было видно, что так было каждый день, и что она к этому привыкла.

Я остановился и смотрел. Шофёр, не торопясь закрыл дверь, обошёл автомобиль, сел за руль и завёл двигатель. Автомобиль тихо урчал, и из выхлопной трубы шёл пар. Потом автомобиль тронулся и поехал, и я видел её лицо в окне. Она смотрела вперёд и не видела меня, или делала вид, что не видит.

Автомобиль поехал дальше по улице, и я стоял и смотрел ему вслед, пока он не скрылся за углом. Потом я пошёл дальше. Перевод в руках был тяжёлый, и идти не хотелось, и было очень холодно.

Я дошёл до гостиницы и поднялся к себе. Потом положил перевод на стол и сел у окна. За окном было серое небо, и школьный базар был пуст, и я сидел и думал о том, что она теперь носит короткую шубу и длинные сапоги, и ездит в чёрном автомобиле с шофёром, и что всё это очень далеко от того времени, когда она носила серое пальто в клетку и пекла пироги для старика в тире.

Наверное, она вышла замуж. Наверное, за того мужчину, которого я видел тогда, или за другого — это не имело значения. Наверное, у неё теперь была большая квартира в новом доме, и всё то, о чём мы никогда не думали, когда жили вместе в той квартире на третьем этаже. Наверное, она была счастлива, и короткая шуба очень ей шла, и высокие сапоги тоже.

Но мне почему-то казалось, что когда она сидела в автомобиле и смотрела вперёд, лицо у неё было не счастливое. Мне казалось, что она просто сидела и смотрела, и думала о чём-

то своём, и что шофёр, и автомобиль, и короткая шуба — всё это было не то, что нужно. Но может быть, мне это только показалось.

Я сидел у окна, пока не стемнело. Потом встал и пошёл в кафе. Хозяин налил мне кофе, и я пил его медленно, и он был горячий, но не помогал согреться.

— Скоро весна, — сказал хозяин, наливая кофе.

— Весна — это всего лишь другое время года, — ответил я.

— Ты стал циником.

— Нет, я просто устал.

Я допил кофе и вышел на улицу. У входа в метро сидела женщина и продавала носки. Раньше на этом месте был киоск с газетами. Киоск закрылся — хозяин сказал, что продавать газеты больше не выгодно. Было ещё холоднее, чем раньше, и я поднял воротник и пошёл в тир.

Старик сидел у рефлектора и читал газету. Газета была старой, и новости в ней уже ничего не значили. Когда я вошёл, старик отложил газету и кивнул.

— Будешь стрелять?

— Да, — сказал я.

— Погрейся сначала

Я постоял у рефлектора и погрел руки. Старик молчал и смотрел на меня, и я знал, что он видит, что что-то не так, но он не спрашивал, и я был ему за это благодарен.

Потом я взял ружьё, зарядил его, приложился щекой к прикладу, прицелился и выстрелил. Мишень осталась на месте. Я зарядил снова, выстрелил — и снова промахнулся. Потом еще раз, и тоже мимо. Руки не дрожали, но пули уходили в сторону, как будто у них была своя воля.

— Сегодня не твой день, — сказал старик.

— Да, — сказал я. — Не мой.

Я положил ружьё на барьер и достал деньги, но старик покачал головой.

— Оставь. Когда человек так мажет, брать с него деньги — грех.

Я убрал деньги обратно в карман. Старик насыпал табак в трубку и закурил. Запах табака был крепким и честным.

— Помнишь, как она приносила пироги? — спросил он сквозь дым. — С капустой. И те, с яблоками, которые еще пахли корицей.

— Помню, — сказал я.

— Она была хорошей девочкой.

— Я видел ее сегодня, — сказал я. — Она садилась в автомобиль. На ней была короткая шуба и длинные сапоги.

Старик затаился и посмотрел на меня своими выцветшими глазами.

— Значит, она нашла свое место. Это хорошо для нее.

— Наверное.

— А для тебя? — спросил он тихо.

Я посмотрел на мишени, которые остались нетронутыми.

— Не знаю, — сказал я. — Я ничего не чувствую. Наверное, для меня это тоже хорошо.

Я вышел на улицу. Ветер стал еще злее. Он гнал сухой снег по тротуарам, и город казался вымершим. В гостинице я лег на кровать в пальто. Одинокий фонарь на базаре мигал, точно подавал сигналы бедствия.

Я лежал и курил, глядя в потолок. Внутри меня снова что-то умерло — спокойно и безболезненно. Это было уже привычно. Зима затянулась, и казалось, что она никогда не кончится. Я закрыл глаза и попытался вспомнить то лето, и озеро, и горячие камни, но воспоминания были бледными, как старые фотографии. Оставался только холод и запах табачного дыма в темной комнате, и я просто ждал, когда придет сон.

XI.

Весна так и не наступала. Было начало марта, и по календарю должно было становиться теплее, но становилось только холоднее, и каждое утро я просыпался и смотрел на серое небо, и знал, что день будет таким же, как вчера.

Потом воздух начал меняться. В нем еще не было тепла, но появилось какое-то странное, беспокойное движение. Небо на западе иногда прояснялось, открывая узкие полоски холодной лазури, чистой и прозрачной, как лед на лесных озерах. Ветер уже не кусался, а только сыро тянул с реки, принося запах мокрого камня. Голые прутья ив слегка набухли, их кора потемнела и стала глянцевою, точно налилась скрытыми соками, и в этом безмолвном ожидании природы чувствовалась глубокая, сосредоточенная сила.

Я пришёл в редакцию в четверг. Редактор сказал, что для меня есть работа, но не обычная, и что это частный заказ, и заказчица хорошо заплатит. Я спросил, что нужно переводить, и редактор достал журнал и показал мне статью.

— Неделя моды в Милане, — сказал он. — Статья для дизайнера. Она ей нужна для работы. Нужно перевести к понедельнику и отнести перевод лично заказчице.

Я посмотрел на журнал. На обложке была женщина в длинном платье и шляпе с широкими полями. Она смотрела в камеру и улыбалась так, будто мир принадлежал ей.

— Она сказала, что у тебя хороший слог.

— Я ничего не смыслю в моде, — сказал я.

— Деньги — это тоже хороший слог, — ответил редактор и назвал сумму. Сумма была очень хорошей.

Я взял журнал и вышел из редакции. На улице было холодно, и ветер трепал страницы журнала, и я засунул его под пальто и пошёл в сторону гостиницы. По дороге зашёл в кафе. Хозяин налил мне кофе, и я достал журнал и положил его на стойку.

Мы разглядывали фотографии красивых женщин в дорогих нарядах, и они выглядели так, будто никогда не мерзли и никогда не были одиноки. Это был другой мир, и за вход в него платили переводом.

Я работал все выходные. Это была трудная работа. Слова были незнакомыми, они пахли пудрой, кожей и тщеславием. Я ходил в библиотеку, копался в словарях. К воскресенью всё было готово. Текст получился гладким и холодным, как шелк.

В понедельник я пошел на Фонтанку. Дом был старым, с облупившимися кариатидами, которые терпеливо держали на своих плечах груз прожитых лет. Я поднялся на третий этаж и позвонил в дверь. Дверь открылась не сразу, и когда открылась, я увидел её.

Она была очень высокая, почти одного роста со мной. Ей было лет тридцать пять, может, чуть меньше. Волосы у неё были светлые и короткие, кожа бледная, почти прозрачная, и профиль был благородный, аристократический. На ней было простое чёрное платье и никаких украшений. Она посмотрела на меня и сказала:

— Вы принесли перевод?

— Да, — сказал я.

— Проходите.

Голос у нее был негромкий, но отчетливый.

Я вошёл в квартиру. Прихожая была просторная, и из неё была видна большая комната с высокими потолками. В комнате стояли манекены — безголовые стражи ее ремесла. Пахло свежей тканью и дорогими духами. Она взяла мою папку и начала читать. Я сел на стул и смотрел на темно-синее платье, надетое на манекен, стоявший ближе всех ко мне. Швы у платья были идеальными. Это была честная работа.

Она отложила листы.

— Вы хорошо справились. Вы нашли нужные слова.

— Я просто пользовался словарями, — сказал я.

— Дело не в словарях, — сказала она.

Она принесла чай. Он был горячим и тоже честным. Мы все еще сидели в этой тихой, освещенной мягким светом комнате, когда она неожиданно спросила:

— Вы ведь писали раньше?

— Пытался. Но не вышло.

— Почему?

— Миру не нужны были мои слова. Или моим словам не нужен был этот мир.

— Жаль, — сказала она, глядя в окно на серую воду реки. — Вы напрасно бросили.

Она дала мне деньги. Купюры были новыми и хрустели в пальцах. Когда я уходил, она посмотрела на меня своим прозрачным взглядом и повторила:

— Напрасно.

Я вышел на улицу. Воздух Фонтанки был сырым, но в нем уже отчетливо пахло весной. Идти было легко. Я чувствовал себя так, будто сбросил старую, тяжелую шинель.

В кафе хозяин налил мне кофе.

— Как заказчица? — спросил он.

— Она знает толк в швах, — сказал я. — И, кажется, в людях.

Я пошел в тир. Старик чистил ружья. Он посмотрел на меня и ничего не спросил. Я взял ружье и зарядил его. Прицелился и выстрелил, и мишень упала. Следующие выстрелы тоже попали в цель.

— Сегодня ты хорошо стреляешь, — сказал старик.

— Да, — сказал я. — Сегодня мне везёт.

Когда я вышел из тира, на улице уже темнело. Я пошёл в гостиницу и думал о высокой женщине с бледной кожей, и о её словах про писательство, и о том, что, может быть, она была права. Но потом я подумал, что это не важно, потому что я больше не пишу, и не собираюсь писать, и что переводы — это хорошая работа, и что этого достаточно.

В гостинице я поднялся к себе и лёг на кровать. За окном был школьный базар, и он был пуст, но фонарь над ним уже не казался таким одиноким. Я лежал и смотрел в потолок, и думал о том, что день был хороший, и что в кармане лежат деньги, и что, может быть, скоро наступит весна.

ХII.

Весна пришла внезапно. Вчера еще город был скован льдом, а сегодня солнце вдруг стало ласковым, и воздух, еще недавно колючий и злой, наполнился кротким, влажным теплом.

Небо, прежде свинцовое и плотное, раздалось в вышине и засияло нежной, трепетной лазурью; по нему поплыли легкие, точно клочья лебяжьего пуха, облака. Снег почернел, сделался ноздреватым и стал таять быстро, и повсюду побежали ручьи, сверкая на солнце и лепеча что-то свое, торопливое. В парке липы окутались едва заметной зеленоватой дымкой — это набухли почки, готовые вот-вот развернуться. Пахло сырой землей, талой водой и тем особенным, томительным духом пробуждения, который заставляет сердце биться тревожно и радостно, как в ожидании чего-то несбыточного.

Через неделю редактор позвонил мне. Та женщина заказала новый перевод. Французские модельеры. Она платила честными деньгами, и я сказал, что возьмусь, и редактор передал мне журнал.

Я работал два дня и в воскресенье отнёс перевод на Фонтанку. Она открыла дверь в том же чёрном платье, или в похожем — я не мог понять. Пригласила войти и предложила чай. Я сказал, что не хочу мешать, но она сказала, что я не мешаю, и я остался.

Мы пили чай. На столе лежали эскизы сумок и куски кожи. Кожа пахла терпко и дорого.

— Вы быстро работаете, — сказала она.

— Это был несложный текст. Обувь и сумки проще, чем судьбы людей.

Мы разговаривали. Она спросила, чем я еще занимаюсь, и я рассказал ей про тир. Она слушала, не перебивая, как слушают люди, которые знают цену тишине.

— Почему вы стреляете? — спросила она.

— Чтобы не думать. Когда ты целишься, в мире остается только мушка и черная точка. Всё остальное перестает существовать.

Она кивнула. Она понимала. В те годы многие из нас искали способ не думать.

В апреле заказов стало больше. Я стал часто бывать на Фонтанке. Однажды она пригласила меня на вечер.

— Приходите в пятницу. Будет вино и несколько друзей.

— Я не умею вести себя в обществе, — сказал я.

— Здесь нет общества. Здесь только люди.

В пятницу я пришёл к восьми. На мне была единственная приличная рубашка, и я побрился, и постарался выглядеть нормально, но всё равно чувствовал себя не на месте. Она открыла дверь в длинном платье тёмно-серого цвета, и волосы у неё были уложены по-другому, и она выглядела красиво, но не так, как женщины из журналов — проще и лучше.

— Заходите, — сказала она.

В комнате было человек десять. У окна стоял высокий мужчина с бородой. Рядом с ним была девушка, очень худая и очень красивая, в коротком платье. На диване сидели двое мужчин с длинными волосами, и один из них держал гитару. Были ещё люди, и все они разговаривали, и смеялись, и пили вино.

— Познакомьтесь, — сказала она. — Это Павел, мой переводчик.

Я познакомился с Игорем. Он был фотографом и смотрел на мир так, будто искал правильную рамку для каждого кадра. Худая девушка улыбнулась и сказала, что её зовут Лена, и что она модель. Мужчины с гитарой сказали, что играют в группе, и что у них скоро будет концерт. Я кивал и старался запомнить имена, но они путались, и через несколько минут я уже не помнил, кого как зовут. Они пили вино и говорили о вещах, которые казались мне странными. Они говорили об искусстве так, будто оно могло спасти мир, но я знал, что мир спасать поздно, и что его можно только пережить.

Хозяйка квартиры дала мне вино, и я пил его медленно и стоял у стены. Игорь рассказывал про съёмки за городом, и про то, как холодно было на заливе, и все слушали и смеялись. Лена сидела на подлокотнике дивана и курила тонкие сигареты, и дым поднимался к потолку, и она была очень красивая, но красота её была какая-то холодная.

Один из музыкантов взял гитару и начал играть. Играл он хорошо, и пел тоже хорошо, и песня была про дождь и про пустые улицы, и всем нравилось, и я тоже слушал. Это была хорошая песня. В ней было то самое одиночество, которое мы все носили в карманах вместе с ключами от съёмных квартир.

— Как вам здесь? — спросила хозяйка, подсаживаясь ко мне.

— Странно. Но вино хорошее.

— Вы привыкнете. Это люди, которые еще не сдались.

— Сдаваться — это тоже работа, — сказал я.

Я стал приходить по пятницам. Это было как в госпитале во время войны: мы все были ранены, но здесь можно было делать вид, что мы здоровы. Игорь показывал фотографии. На них город выглядел резким, полным теней и острых углов. Лена курила длинные сигареты и молчала. Музыканты играли. Я слушал их и чувствовал, как моя старая жизнь — с тиром, дешевым кафе и мертвым Глебом — медленно отступает в тень.

Однажды музыканты позвали меня на концерт. Концерт был в подвале на Петроградской стороне, и там было душно и накурено, и люди стояли плотно, и когда группа начала играть, было очень громко. Я стоял у стены и смотрел, и музыка была хорошая, хоть и громкая, и людям нравилось, и они кричали и хлопали. Музыка била по ушам, и это было хорошо. Когда музыка такая громкая, ты не слышишь собственных мыслей. Хозяйка с Фонтанки стояла рядом. Мы не говорили. В таком шуме слова не имеют смысла.

После концерта я шел по ночному городу. Было тепло. Жизнь менялась. Я видел, как на месте старой парикмахерской открылся офис с вывеской «Инвестиции». Аптека рядом закрылась. Мир становился другим — более деловым и жестким.

Я увидел черный автомобиль у подъезда. Шофер курил. Это мог быть ее автомобиль, а мог быть и чей-то другой. Мне было всё равно. Я прошел мимо и свернул в подвал тира.

Старик проверял цепочки на ружьях.

— Ты стал редко заходить, — сказал он.

— Да, — сказал я. — Работа. Пятницы. Люди.

— Люди — это ненадежно, — старик посмотрел на меня поверх очков. — Ружье надежнее.

Я выстрелил пять раз. Я мазал. Пули уходили в молоко. Мой глаз больше не был таким верным, как раньше. Вино и разговоры о моде размягчили меня.

— Ты стреляешь как дилетант, — сказал старик.

— Давно не тренировался.

— Нужно чаще приходить.

— Буду, — сказал я, но я знал, что не буду приходить так часто, как раньше, потому что теперь были пятницы на Фонтанке, и переводы про моду, и всё это занимало время.

Когда я вышел из тира, было поздно. Я шёл к гостинице и думал о том, что мир разделился на две части — была старая жизнь с гостиницей и тиром, и кафе, и была новая жизнь с вечерами и людьми, которые говорили о вещах, которые мне были не очень понятны. И обе эти части были разные, и между ними не было связи. В одном была честная пустота, в другом — красивая иллюзия. И я ходил между ними, и не принадлежал ни одной из них по-настоящему. Я был просто переводчиком, человеком, который переводит чужие мысли на свой язык, но не имеет своего собственного.

Внутри меня всё еще было пусто. Пятницы на Фонтанке не заполняли эту пустоту, они просто драпировали ее красивыми тканями, как те манекены в комнате у высокой женщины с

аристократическим профилем. И я знал, что рано или поздно ткани сорвут, и останется только дерево и проволока. Но пока была весна, и вино было красным, и я мог идти дальше, пряча лицо в воротник, который уже не нужно было поднимать.

ХІІІ.

В один из пятничных вечеров в мае я пришёл на Фонтанку, и там была новая женщина. Она стояла у окна с бокалом вина и разговаривала с Игорем, и когда я вошёл, она обернулась и посмотрела на меня. На ней было бежевое платье простого покроя, но было видно, что оно дорогое, и туфли были дорогие, и часы на запястье тоже. Волосы у неё были тёмные, собранные в тяжелый узел. Лицо было умное, с усталыми глазами человека, который хорошо умеет считать деньги.

— Это Павел, — сказала хозяйка. — Мой лучший переводчик. Павел, это Анна. Она знает о банках всё, что стоит знать.

Голос у Анны был низкий и спокойный. Она смотрела на меня так, будто читала балансовый отчет, в котором не хватало одной важной цифры. Я взял вино и отошел. Музыканты на диване спорили о ритме, но я чувствовал ее взгляд на своей спине.

Вечер проходил как обычно. Игорь показывал новые фотографии, музыканты играли, Лена курила и рассказывала про неудачную съёмку. Анна сидела в кресле и слушала, и иногда говорила что-то, и было видно, что она здесь не впервые, и что её все знают.

Позже она подошла ко мне.

— Вы переводите статьи про моду? — спросила она.

— Да, — сказал я.

— Это интересная работа?

— Странная, — сказал я. — Но я привык.

— Раньше вы переводили что-то другое?

— Да. Про рыболовство и про сельское хозяйство.

Она улыбнулась.

— Большая разница.

Мы разговаривали ещё какое-то время. Она слушала внимательно, и не было видно, что ей скучно, и это было приятно.

Небо над Фонтанкой стояло высокое, нежно-лиловое; в нем замирали золотистые отсветы заката, медленно тонувшие в темной воде канала. Воздух, густой и неподвижный, был напоен ароматом расцветающей сирени и молодой листвы лип; этот запах проникал сквозь открытые окна, смешиваясь с запахом дорогого табака. И в этой тишине вечерних сумерек было что-то томительное, обещающее покой, которого никто из нас не заслуживал.

Анна стала приходить каждую пятницу. Иногда внизу ее ждал черный автомобиль. Шофер курил у капота, и в свете фонаря он казался тенью из того прошлого, где была другая женщина в меховой шубе. Это было неприятно, как старая рана к дождю, но потом я пил вино, и неприятное чувство притуплялось, и этого было достаточно.

Мы часто разговаривали. Она рассказывала про свою работу в банке, про отца, который хотел, чтобы она вышла замуж за партнёра по бизнесу, и про то, что она не хочет замуж. Я рассказывал про переводы, и про тир, и про роман, который написал и который никто не хотел печатать. Она спросила, могла бы она его прочесть, и я сказал, что нет, что роман лежит в столе, и что я не хочу его никому показывать.

— Почему? — спросила она.

— Потому что он плохой, — сказал я.

— Откуда вы знаете?

— Просто знаю.

— Но его же никто не читал.

— Редакторы читали, — сказал я. — И никому не понравилось.

— Редакторы боятся правды, — сказала она. — Если она не упакована в яркую обложку.

— Может быть, — сказал я. — Но моя правда им не подошла.
Она не стала настаивать, и я был ей за это благодарен.

В начале июня, когда ночи стали совсем белыми и прозрачными, она предложила мне работу.

— Мне нужен перевод из немецкого финансового журнала. Про банковские операции и движение капитала. Это сложная работа. Там много терминов, нуждающихся в точном переводе. Но я хорошо заплачу.

Я молчал. Статья о банках была серьёзной работой. Нужно было погружаться в тему, и это было бы совсем не похоже на статьи про моду.

— Я не уверен, — сказал я. — Я втянулся в моду.

— Мода — это фасад, — сказала Анна. — А финансы — это то, на чем держится здание. Вам нужно возвращаться к реальности.

— Реальность слишком холодная, — сказал я. — В шелке теплее.

На следующий день я зашел в кафе.

— Большие деньги? — спросил хозяин, когда я все ему рассказал.

— Да.

— Тогда бери. На платьях далеко не уедешь. Скоро осень, и людей станут больше интересоваться не модные фасоны, а счета за отопление.

Потом я пошел в тир. Старик возился с проводкой.

— Ты изменился, — сказал он, глядя на меня поверх очков. — Раньше ты не думал. Раньше ты брал работу, за которую платили больше, потому что тебе было всё равно.

— А сейчас?

— А сейчас ты боишься, что серьезная работа разрушит твою новую иллюзию.

Я взял ружье. Сделал три выстрела. Пули ушли вправо. Глаз был замылен вином и нежно-лиловыми закатами. Старик был прав. Я боялся. Мода стала моим укрытием. Там, среди манекенов и эскизов, я мог забыть про Глеба, про походы в издательства и про ту пустоту, что сидела во мне, как неразорвавшийся снаряд.

В пятницу я снова стоял у окна на Фонтанке. Анна подошла ко мне.

— Вы подумали?

— Я боюсь, что мне это не подойдет, — сказал я. — Мне нравится то, что я делаю сейчас. Это редкость — когда работа не причиняет боли.

— Это не редкость, Павел. Это добровольный сон.

Мы пили вино и смотрели на воду. Вечер был теплым, и люди на набережной казались счастливыми. Анна не настаивала. Она была слишком умна для этого.

— Если решитесь — я дам вам отрывок, — сказала она. — Просто посмотрите на него.

Я кивнул. Я был уверен, что не возьмусь. Я хотел остаться в своем коконе из дорогих тканей и чужих разговоров о красоте. Но внутри всё так же было пусто, и я понимал: никакие переводы про итальянских модельеров не залатают эту дыру. Она была там всегда, холодная и чистая, как первый снег в ту зиму, которая никак не хотела заканчиваться в моей голове.

XIV.

Через неделю я взял этот перевод. Не знаю почему. Может быть, из-за денег, а может быть, потому что Анна спросила об этом так, будто это действительно имело значение. Она дала мне три страницы — пробный кусок, жесткий и сухой, как галета.

Я работал два дня. Это было не похоже на моду. Там не было воздуха, только цифры, проценты и тяжелые, как булыжники, немецкие конструкции. Я снова сидел в библиотеке, обложившись словарями. В конце дня голова гудела, и глаза болели от мелкого шрифта. Но это была честная работа. Когда я закончил, я знал: перевод хорош. В нем была точность, которой не купишь за воланы и рюши.

Я отдал его Анне в пятницу. Она прочитала его, не отходя от окна.

— Это то, что нужно, Павел. Вы очень точны.

— Это было трудно, — сказал я.

— Трудные вещи хорошо оцениваются. Вы возьметесь за остальное?

Она назвала цену. Это была цена, за которую можно было прожить пару недель, не думая о завтрашнем дне.

— Хорошо, — сказал я. — Возьмусь.

Июнь в тот год был пыльным и жарким. Вечера стояли длинные, напоенные густым ароматом цветущего жасмина и лип. По вечерам последние лучи солнца долго золотили шпили и верхушки деревьев, прежде чем утонуть в глубокой, неподвижной синеве Невы. Воздух был недвижим и чист, точно всё в природе прислушивалось к далекому, едва слышному рокоту приближающейся грозы, которая всё никак не решалась разразиться.

Я работал над статьей десять дней. Я выверял каждое слово, как снайпер выверяет поправку на ветер. Мода отступила. Теперь были только финансы. Когда я закончил, Анна позвонила в гостиницу. Она сказала, что ее отец хочет познакомиться со мной. Ему нужен был надежный человек.

Мы встретились в ресторане на Невском. Там были белые скатерти, слишком много столового серебра и официанты, которые двигались как тени. Я надел свою единственную приличную рубашку, но всё равно чувствовал себя не на месте. Рядом с Анной сидел плотный мужчина в темном костюме, и лицо у него было жесткое, и было видно, что он привык командовать.

— Анна говорит, вы знаете свое дело, — сказал он. Голос у него был сухой, без интонаций.

— Я стараюсь, — ответил я.

— Мне нужны люди, которые не просто стараются, а выполняют порученное им дело. Вы надежны?

— Я делаю свою работу. Думаю, этого достаточно.

Он кивнул. Потом посмотрел куда-то сквозь меня, словно я был стеклянной витриной. Официант принес еду. Отец Анны ел быстро и сосредоточенно, как солдат на марше. С тем же удовольствием он мог есть простую кашу из полевого котла. Он предложил мне постоянную работу — контракты, отчеты, банковские письма. Платить обещали много.

— Я согласен, — сказал я.

Он встал, коротко кивнул, не глядя в мою сторону, и ушел. Его уход был похож на конец артобстрела — стало тихо, но в воздухе еще пахло гарью.

— Простите его, — сказала Анна. — Он всегда такой.

— Ничего, — сказал я. — Я понимаю.

— С цифрами у него получается лучше, — сказала Анна.

Мы вышли на Невский. Вечер был теплым. Анна взяла меня под руку. Это было естественное движение, легкое и честное.

— Вам понравилась эта работа? — спросила она.

— Нет, — сказал я честно. — Она была трудная.

Она засмеялась.

Мы дошли до моста. Вода в канале была темной, в ней дрожали отражения фонарей.

— Вы не похожи на других, Павел. Поэтому отец вас и взял. Вы не пытаетесь казаться большим, чем вы есть.

— Может быть, — сказал я.

Мы стояли у моста, и она всё ещё держала меня под руку, и было тихо, и только вода шумела внизу. Потом она сказала:

— Вы придёте в пятницу?

— Да, — сказал я. — Приду.

— Хорошо, — сказала она.

Я проводил её до автомобиля. Шофёр открыл дверь, и она села внутрь, и автомобиль уехал, а я пошёл по Невскому к дому. Было тепло, и идти было приятно, и я думал о том, что ее отец смотрел мимо, как будто меня не было, и о том, что Анна держала меня под руку, и о том, что всё это было странно.

В гостинице я поднялся к себе и лёг на кровать. Я лежал и думал о том, что теперь у меня будет постоянная работа, и деньги, и что нужно радоваться. Но радости не было. Была только усталость от перевода, и ощущение, что ее отец смотрел сквозь меня, как будто я был прозрачный, и что, может быть, я и правда прозрачный, и что внутри у меня по-прежнему пусто, и никакие деньги это не исправят.

На следующий день я пришёл в тир. Старик делал записи в потрёпанной тетради.

— Я взял работу у банкира, — сказал я.

— Это хорошие деньги, — ответил старик, не поднимая головы.

— Но это трудно.

— Трудное возвращает к жизни. Мода — это для тех, у кого нет памяти.

Я взял ружье. Прицелился. Выстрелил. Мимо. Снова мимо. Руки дрожали от усталости, от бессонных ночей над словарями.

— Отдохни, — сказал старик, наливая чай из термоса. — Ты слишком много думаешь о деньгах.

— Всем нужны деньги.

— Но не всем нужно терять из-за них верный глаз.

Мы пили чай в полумраке подвала. Старик вспомнил пироги с капустой. Это было так давно, что казалось неправдой.

— Анна — хорошая женщина? — спросил он.

— Да. Она хорошая.

— Но она не из нашего окопа, Павел. Помни об этом.

В пятницу я снова пришёл на Фонтанку. Анна была там, и когда увидела меня, она улыбнулась, и это было приятно. Мы стояли у окна, пили вино и смотрели на вечерний город. Я чувствовал, что лето в разгаре, что жизнь течет мимо, как эта вода в канале, и что я, возможно, всё-таки начинаю обретать плоть, переставая быть просто тенью в серой гостиничной комнате. Но в глубине души я знал: это всего лишь еще одна иллюзия, такая же хрупкая, как те манекены, что стояли за моей спиной.

XV.

Июнь подходил к концу. Дни стояли душные и неподвижные, и город задыхался в собственном зное.

Солнце, казалось, застыло в зените, заливая набережные нестерпимым, ослепительным блеском; воздух, густой и горячий, дрожал над раскаленным камнем мостовых. Липы в парке окончательно отцвели, и их листва, прежде нежно-зеленая, теперь потемнела и покрылась серой дорожной пылью. На Фонтанке вода стояла тяжелая, маслянистая, и в ее сонной глубине отражались старые дома с их вечно закрытыми, точно ослепшими окнами.

В пятницу я пришел на Фонтанку, но дверь была закрыта. Я позвонил несколько раз. За дверью было тихо — той особенной, мертвой тишиной, которая бывает только в пустых домах. Я понял, что случилось что-то плохое.

Я позвонил Анне из автомата. Она сняла трубку.

— Павел? Она в больнице. Приходите в кафе на Невском. Я буду там через полчаса.

Через полчаса мы сидели за угловым столиком. Анна смотрела в свою чашку так, будто там были ответы на все вопросы, которых она боялась.

— Она любила повторять, что «Четыре колеса возят тело, а два колеса — душу», — грустно улыбнулась Анна. — Так вот ее душу два колеса едва не увезли слишком далеко от тела, и теперь ей нужно каждые полгода ложиться в клинику, чтобы удерживать их вместе.

Она сделала глоток черного кофе.

— Потом самый близкий ее человек просто ушел, когда она стала «сломанной». Она осталась совсем одна. Поэтому она придумала эти вечера по пятницам. Это ее способ строить баррикады против одиночества.

— Я могу ее увидеть?

— Не сейчас, Павел. Она не хочет, чтобы ее видели слабой. Пятниц пока не будет.

Я вышел на улицу. Вечер был теплым и золотистым, но мне казалось, что я иду сквозь серый туман. Я думал о высокой женщине с бледной кожей и аристократическим профилем, которая шила прекрасные платья, чтобы скрыть шрамы на душе.

Вечером я пошел в тир. Старик точил что-то на бруске. Звук был противный и резкий.

— Та женщина с Фонтанки попала в больницу, — сказал я.

Старик перестал точить. Он долго смотрел на брусок, потом кивнул.

— Жизнь — это чертовски паршивая штука, Павел. Но это единственная штука, которая у нас есть.

Я взял ружье. Я стрелял долго и сосредоточенно. Отдача била в плечо, и это было хорошо. Это было реально. Старик молча подкладывал пули на барьер. Я стрелял, пока мои пальцы не онемели от холода стали.

Через неделю я поехал в клинику. Купил по дороге цветы — белые розы, потому что не знал, какие она любит.

Больница была старая, с длинными коридорами и облупившейся краской на стенах. Я поднялся на нужный этаж и нашёл её палату. Она лежала у окна, и когда я вошёл, повернула голову и улыбнулась. Это была прежняя улыбка — спокойная и немного печальная.

— Проходите, — сказала она совсем так же, как в первый раз в дверях своей квартиры на Фонтанке.

— Принес розы. Не знал, какие вы любите.

— Спасибо. Поставьте их в воду. Они красивые.

Я сел рядом. Мы не говорили об аварии. Мы не говорили о предательстве. Мы не говорили о смерти, которая всегда бродит по больничным коридорам. Я рассказывал ей о тире.

О том, как старик ворчит на плохой свинец, и о том, как солнце падает на барьер в три часа пополудни. Она слушала и кивала.

— Приходите еще, — сказала она, когда я встал. — И не забывайте про пятницы. Мы скоро их возобновим.

— Хорошо, — сказал я.

Она вернулась через три недели. И в первую же пятницу на Фонтанке снова горел свет. Мы снова пили вино и говорили о чепухе. Игорь показывал фотографии, а музыканты настраивали гитары.

Я стоял у окна с бокалом вина и смотрел на собравшихся людей. Теперь я знал, почему эти вечера так важны. Это были маленькие костры в большой, холодной ночи. Мы грелись у них, зная, что рано или поздно дрова кончатся. Но пока огонь горел, мы старались ценить исходящее от него тепло.

Это помогало не думать о пустоте. Пустота никуда не делась, она просто отступила в углы комнаты, туда, где стояли безмолвные манекены. И этого было достаточно. Для одного вечера этого было вполне достаточно.

XVI.

Переводы экономических статей стали регулярными. Отец Анны присылал их дважды в месяц — холодные, сухие тексты о биржах, облигациях и движении валют. Я переводил их медленно, как разбирают часовой механизм. В этих словах не было жизни, но в них была логика, а логика — это единственное, на что можно опереться, когда мир вокруг начинает шататься.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.